

Глава 25

И наконец — о любви

Работа над книгой продолжалась всю зиму. Хорошо, что не была она в центральной полосе России суровой. Держалась между мягкими снегопадами и грязной слякотью, как и вообще в последние годы. Радуюсь, поскольку слишком суровая зима неизбежно ударила бы по больным местам нашего хозяйства. А значит, по людям. И с топливом скверно, дороговизна его страшная, заводы встают. О городских котельных и говорить нечего. Отопительные системы в жилых домах ремонтировать некому — все подались в какие-то «структуры»...

Живу сейчас на казенной старой деревянной даче, построенной в 30-х годах и предоставленной мне за службу Отечеству решением Верховного Совета СССР. Вспоминаю долгие годы работы, анализирую и пишу книгу. Очень нравится новое для меня занятие, сам процесс нравится: определить идею, мысль, оформить словами, уложить на бумагу... Даже жалко, что книга должна иметь конец, а автор — уметь поставить точку. Она близка...

И чем она ближе, тем все чаще и чаще всплывают в памяти слова Блока: «Я не спеша собрал бесстрастно воспоминания и дела...»

В книге, которая подошла к последней главе, я тоже не спеша — не могу, правда, сказать, что бесстрастно, — собрал воспоминания и дела последних десяти лет моей жизни. Так что же, снова по Блоку, моя «жизнь прошумела и ушла»? Не соглашусь. Жизнь не кончается, пока живы мысль и боль за все, что происходит с тобой, близкими, твоей страной. Пока есть желание не только вспоминать, но и действовать словом своим. Книга завершится, но мысль и боль не утихнут, а значит, и дело продолжится.

Начинал я ее как книгу воспоминаний. Но чем дальше продолжалась работа над ней, тем больше и больше я думал о настоящем и будущем страны. Прошедшие десять лет, которые она практически охватывает, были для нашего народа временем огромного духовного взлета и глубочайшей исторической трагедии. Поэтому естественно, что в этих условиях я, даже будучи в отставке, не мог, не имел права оставаться сторонним наблюдателем. Как вы помните, задумывал я книгу прежде всего для внуков. Все, что каждый творит в своей жизни, кем бы он ни был в ней, он творит ради всех, кто придет следом, кто уже подпирает, подгоняет, торопит. И пока есть силы, надо работать ради не только настоящего, но и будущего.

Вон оно, мое будущее, раскрасневшееся от небольшого морозца, взмыленное, с головы до ног облепленное мокрым снегом, деловито перестраивает найденную невесту где-то сломанную детскую коляску в легкую тележку, вполне годную для перевозки важных «народнохозяйственных» грузов.

Его, мое будущее, зовут, как и меня, Николай. Он — мой внук, сын моей дочери Марины, рукастый и головастый парень, жадный до всякой технической деятельности. Развинтить, разложить по деталям, рассортировать, снова свинтить, собрать, удивиться, что не все разобранное нашло свое место в новой конструкции, — это его стихия.

А вот и другое мое будущее, ревущее в голос, размазывающее по щекам слезы отчаяния: нет бумаги, ни листка не осталось, а надо немедленно нарисовать королеву, немедленно — ведь королева-то ждать не может. Людмила, моя внучка, названная в честь бабушки — моей жены. Мила техникой не интересуется, Мила любит увлекательные книжки, а еще она страшно любит рисовать, без конца рисует фломастерами и цветными карандашами, рисует дома, в школе, в гостях у бабушки с дедушкой. Сейчас у нее в творчестве — «королевский период», и надо ей помочь, подкинуть бумаги.

Как же славно мечтать — каким оно окажется, это будущее! Кем они станут, когда вырастут, — Мила и Коля... Коля — тот наверняка инженером, изобретателем. Мила — конечно же, художницей, иллюстратором детских книг... Впрочем, кем бы ни стали — лишь бы людьми были. Душу бы смогли сохранить в череде тех испытаний, которые выпадут им в их завтрашней жизни. Что выпадут — тут сомнений нет. Я делаю такой вывод вовсе не потому, что жизнь наша становится все труднее и труднее и просвета,

похоже, не наблюдается, несмотря на оптимистичные заявления вождей. Я делаю этот вывод потому, что человеческой жизни без испытаний не бывает. Это — аксиома для любого времени, любого места на планете, любого общественного строя. Другое дело, что жизнь у всех разная и испытания бывают разными; наших внуков, судя по всему, ждут более чем серьезные. Мы оставляем им расколотую на части страну. Мы оставляем им невероятно тяжкую долю: собрать ее, оживить, сделать нормальной, естественной. И вот тут-то понадобятся их сильные и чистые души.

Что ж, вина и беда нашего поколения, что мы не сумели оставить внукам единую и великую страну. Думаю, что я смог объяснить в этой книге, в чем наша вина и в чем беда. Не хочу говорить обо всем моем поколении — оно очень разное, как и любое иное. Но, оборачиваясь назад, утверждаю: душу свою не продавал ни черту, ни дьяволу. Жил, как совесть диктовала. Работал так, чтобы дело было нужно людям и приносило мне удовлетворение и чтобы в доме моем всегда был мир и покой.

Это крайне важно — мир и покой в доме, в семье, в той крохотной ячейке, которая построена не на зыбком фундаменте какой-либо свежеиспеченной идеологии, а на фундаменте идеологии вечной, от сотворения мира идущей, — на любви.

Все, что в этом ненадежном мире еще держится, построено именно на любви. И душа наша трудится и не устает, поскольку держит ее великое чувство любви — к мужу и жене, к старым и малым, к делу, к Родине... Может, и сам-то я живу и надеюсь, дышу и не перестаю работать потому, что душа моя крепка любовью.

Все, что я в жизни делал, я делал по любви. Для особо придирчивых оговорюсь: почти все, ибо, конечно же, существует железное понятие «долг», которое иногда расходится с твоими желаниями и пристрастиями. Но молодость тем и хороша, что любовь в ней бывает сильнее долга. Это с возрастом человек начинает делить любовь и долг, и горе ему, если долг перевешивает. Так уж люди устроены...

Я в молодости, как уже писал, хотел учиться и пошел учиться туда, куда хотел. Поступил в Краматорский машиностроительный техникум в Донбассе, специализировался на проектировании подъемно-транспортного оборудования. Диплом делал хитрый: рассчитывал тележку 250-тонного крана, предназначенного для разлива металла. Закончив техникум, в Краматорске не остался, хотя и мог.

Мечтал быть инженером, потому и попросился в тот город, где был инженерный институт. Так уж вышло, что городом этим оказался Свердловск, институтом — известный Уральский политехнический, а заводом, на который меня распределили работать, — Уралмаш. Я еще даже не знал, где он есть — Свердловск. Пришлось карту в библиотеке смотреть. Год на дворе стоял 50-й.

Война пять лет как закончилась. Уралмаш работал в войну на нее и после темп не сбавил. В стране шла напряженнейшая работа по восстановлению разрушенного народного хозяйства. И это требовало от заводчан поистине бесшного, воснного ритма. Лет мне было двадцать, работать я еще толком не научился, но ритм захватывал тебя, и оставалось два выхода: или сжиться с ритмом, или не принять его. Из молодых специалистов, приходивших в заводские цехи после вуза или техникума, ровно половина довольно быстро перебиралась на более тихие и спокойные должности — в конструкторские или технологические отделы. Я же сразу в цех попросился. Стал сначала помощником мастера, а очень скоро и сменным мастером в сборочно-сварочном цехе на участке, где собирались гигантские шагающие экскаваторы.

Мощные эти машины высотой в восьмизэтажный дом в то время способны были поразить любое воображение, даже у людей, всю жизнь связанных с техникой, не говоря уже об остальных. Я не забуду восторженное изумление знаменитого уральского сказочника Павла Петровича Бажова, который был у меня на участке незадолго до своей смерти.

Я пришел в цех, когда там шло изготовление машины номер два. Первый шагающий был отгружен на Волго-Дон в день 70-летия Сталина.

Итак, судите сами. Мне — двадцать, а в подчинении у меня — двадцать пять человек, две трети из которых работали на Уралмаше всю войну. Мне было очень тяжело, но я выжил и вжился в коллектив. Я стал для них не Николаем, а Николаем Ивановичем, несмотря на тогдашние мои годы. Бесконечно благодарен этим двадцати пяти и никогда не забывал их. До сих пор по именам-отчествам всех помню, хотя и похоронил уже многих. Годы неумолимы. А если честно, то и выделял всегда эту «двадцатипятку» из общей массы уралмашевцев. И когда главным инженером стал, и когда директором, и даже когда премьером. Они были и остались для меня самыми особыми. И завод — во многом благодаря им — стал для меня самым

особым, первой, единственной и непроходящей любовью. Хотя попал на него случайно. Но случай — царь.

Он, этот царь, подарил мне еще одну — опять-таки первую и единственную — любовь. Случай, точно. Не будь Уралмаша, я бы не встретил свою будущую жену. Так что судьбой моей уже руководил он, Уралмаш.

Шел 1954 год. Я учился на вечернем отделении механического факультета Уральского политехнического института (УПИ). Первый курс закончил. Уже начальником участка стал — три смены, семьдесят пять человек в моем подчинении было. Каждое лето на заводе появлялись практиканты, в том числе и из УПИ. Относились мы к ним с некоей снисходительностью. Как к неизбежной обузе: мол, маменькины сынки и дочки. Им бы только зачет получить. Пусть крутятся — лишь бы не мешали. Замечу, впрочем, что они к нам тоже любовью не пылали: у них — незаконченное пока, но высшее образование, кино и театры, а мы — «работяги». Именно так — в кавычках...

И вот мне сообщают, что этих практикантов на участок прибыло аж двадцать пять человек! Все после третьего курса. Я к начальнику цеха: куда столько? Раскидайте их по другим участкам... А он: ничего, пусть гайки на платформе шагающего закручивают, зато все вместе, опасность меньше — и им и заводу...

Собрал я их, представился, рассказал об участке, разбил по сменам. Там по списку три студентки должны были быть, а на практику явились две. Спрашиваю: где третья, которая Ершова Людмила? Отвечают: к маме поехала — видно, задержалась. Ну, думаю, ее дело, не мне ж зачет по практике получать...

А спустя два дня опоздавшая Ершова ждала меня в моей комнатухе на участке, сидела пай-девочкой: извините, Николай Иванович, задержалась, больше не повторится. И так она мне сразу понравилась, такой красивой показалась, да и вообще такой необыкновенной, что подумал я: а не судьба ли это?

И что вы думаете? Судьба!

А она, я у нее потом спрашивал, в тот первый раз на меня внимание, конечно, обратила. Но чтобы о чем-то подумать... Я же, напомним, «работягой» для нее являлся, хотя был ничего из себя.

И стал я с Людмилой полегонечку разговаривать. Тут слово, там два. Вроде как не специально. Вроде как опека над молодыми и неопытными. А ее друзья-товарищи не

слепые. И нет-нет, да подденут, подколют ее: внимание, Людка, твой идет. Потом-то я понял, что такие подколки могли для меня плохо кончиться. Гордая Ершова Людмила запросто могла обозлиться и возненавидеть меня как причину насмешек над собой. А она, наоборот, заинтересовалась. «Мой, говорите? Посмотрим, посмотрим...»

А тут мне на счастье случай, и опять с Уралмашем связанный, произошел: Ершова «посеяла» где-то пропуск на завод. Войти — вошла, а выйти с завода после смены — без пропуска не пускают. Строго было. Она — назад в цех, это чуть ли не километр от проходной, и напрямик к мастеру. Думала: вторая смена всюю началась, придется с незнакомым мастером объясняться. Пришла, а там я сижу. Я всегда на вторую смену задерживался, начальникам участков рабочий день никто не нормировал. И так это ее почему-то поразило, что я домой не иду, а все работаю.

Объяснить это можно было тем, что разница в возрасте у нас была не так уж велика, а образ жизни был разный. На нас давила ответственность, дисциплина, ежедневные заводские заботы. В институте же можно было опоздать на лекцию, пропустить ее, сбежать в кино.

Эту разницу я сам почувствовал после техникума. Заводская жизнь быстро сделала нас взрослыми.

Сейчас смешновато все это выглядит, а тогда, в 54-м, вполне даже нормальным казалось. Отношение к делу — черта характера. И черта эта во мне Людмиле понравилась.

Я, конечно, тут же пошел ее проводить до проходной: километр вместе все-таки. Для вахтеров никаким командиром я не был — подумаешь, начальник участка, у нас их на заводе сотни были! Но хватило слов, чтобы убедить их выпустить ее с завода. А на следующий день хватило слов выбить для нее другой пропуск — взамен халатно утерянного. Что и дало повод спустя некоторое время пригласить ее с подругой на ежегодный праздник — день рождения Уралмаша.

Отвлекаясь чуть-чуть от любовной коллизии, хочу с гордостью отметить, что праздновать дни рождения каждый год, и праздновать широко, масштабно, всем заводом, было незыблемой традицией Уралмаша. Тысячи уралмашевцев с семьями отправлялись 15 июля на заводской стадион, поглядывали на небо, не сорвет ли праздник тоже традиционный дождь. Выступает директор, поздравляет с днем рождения завода, а затем в небе воздушные акробаты, а на поле стадиона красочное представление. И всегда для каж-

дого уралмашевца день этот был именно праздником, к которому готовишься загодя, который ждешь, и он, как правило, твоих ожиданий не обманывает.

И будучи в Москве, я всегда отмечал этот день. Звонил на завод, поздравлял коллектив. С большой болью и горечью узнал, что в последние годы эта традиция оборвалась. Не до праздников сейчас Уралмашу. Невзгоды, обрушившиеся и на завод, общая моральная подавленность в стране выбивает даже из уралмашевцев дух коллективизма и сплоченности.

Так вот, пошли мы с Ершовой Людмилой и ее подругой на стадион и провели вместе почти целый день. Как я узнал много позже, подруга то и дело порывалась тактично уйти, оставив нас вдвоем, правда, в огромной толпе заводчан. Но Людмила ей не позволила сделать это из чувства дружбы.

И все. И вся история ухаживаний. Практика закончилась, Людмила уехала к родным в секретный атомный город «Свердловск-44», по-старому — Верх-Нейвинск, что в семидесяти километрах от Свердловска. Сама-то она ленинградка, в блокаду семья эвакуировалась в Новосибирск, а после войны отцу предложили работу в Верх-Нейвинске.

Забегая сильно вперед, скажу, что со своей будущей, ныне покойной, тещей я познакомился у шлагбаума на проходной в «Свердловск-44», куда меня без пропуска не пустили. А я уехал к своим — в отпуск. Но договорились переписываться. И переписывались. И ждали момента, когда вернемся в Свердловск, а когда вернулись и встретились, то ни у Людмилы, ни у меня никаких сомнений по поводу нашей любви не было.

Людмила Ершова стала Людмилой Рыжковой 22 октября 1955 года. Накануне свадьбы я, девять лет до этого проживший в общежитиях, получил в полное наше распоряжение девятиметровую комнатку в трехкомнатной квартире, где жили еще две семьи. Люда тоже жила в студенческом общежитии. Завод пошел навстречу молодому и перспективному начальнику участка, отыскал комнатку «за выездом». Так что нам было куда перебираться после свадьбы.

Она прошла шумно и весело, сняли столовую в уралмашевском городке. Человек шестьдесят, если не запаматовал, гуляли. Мы только потом, спустя какое-то время, оценили поступок моей, тоже ныне покойной, мамы, мудрой, хотя и неграмотной женщины. Она никогда раньше не выезжала дальше своего рудника, но приехала на нашу

свадьбу за три тысячи километров с пересадкой в Москве... Отгуляли, пошли домой и начали жить вместе. С тех пор сорок лет не расстаемся. Счастливы. И если чьему-то семейному счастью и стоит позавидовать, то это нашему. Заявляю официально.

Охотно верю, что сегодня и наше стеснительное производственное знакомство, и моя любовь с первого взгляда, и наши ухаживания, и наша полудетская переписка и свидания, и свадьба наша комсомольско-молодежная, и девятиметровая комната в коммуналке, и купленная накануне кровать с шарами и панцирной сеткой, сработанная, между прочим, на Уралмаше, и стол, подаренный соседями, невольно вызовут ироническое отношение у современной молодежи. Но каждое поколение живет в своей и бытовой, и нравственной атмосфере.

Затем была другая коммуналка с замечательными соседями-уралмашевцами тетей Симой и дядей Костей, с которыми мы сразу крепко подружились, несмотря на разницу в возрасте, с того самого момента, когда в одно из воскресений пришли смотреть будущее жилье. Они, соседи, тоже будущие, домашние пельмени на кухне стряпали, и водочка, замечу, на столе была, и нас тут же с собой усадили. Все это сегодня сильно смахивает на милые и наивные фильмы пятидесятых годов, вроде «Весны на Заречной улице» или «Высоты», и кажется таким же милым, наивным и неправдоподобным, как эти фильмы. Есть такая фраза: как в кино. Но что поделаешь — так все и было. Как в кино.

Говорят, что время безжалостно. Это верно. Оно разрушает скалы и высушивает моря. Но время еще умеет строить в прошлом каждого прекрасные замки, на которые легко и радостно смотреть из настоящего. И нет, уверен, человека, который все свое прошлое воспринимал бы в черном цвете. У каждого, повторяю, есть в дальней жизни свои светлые замки. Молодость всем достается поровну.

Я не хочу уподобиться тому скучному мизантропу, который твердит, что в его юности и небо было голубее, и травы зеленее, и птицы звонче. Что сегодняшняя молодежь не умеет любить, не хочет работать, не уважает старших, не научилась радоваться простым радостям жизни. Вздор все это. Как известно, еще Сократ сильно расстраивался по поводу молодежи...

И нынешние юные тоже вырастут, постареют и тоже станут с добрым чувством вспоминать свои воздушные зам-

ки. Их замки, ничуть на наши не похожие, но в которых жили они, тоже молодые и беззаботные, и в которых тоже все было красиво, легко, вольно и радостно. Как и у нас. А на самом-то деле и у нас, и у них и проблемы были, и беды, и горе, и расстройства всякие. Просто проходило все легче и проще воспринималось — таково чудесное свойство молодости. Никого оно не минуло и не минует...

Как видит читатель, я с большим оптимизмом отношусь к новым поколениям молодежи. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Еще великий Гете сказал, что время никогда не стоит, жизнь постоянно развивается, человеческие взаимоотношения видоизменяются каждые пятьдесят лет (а по теперешним временам и намного чаще). Правда, эти мои рассуждения оставляют в стороне ту преднамеренную политику нынешних властей и некоторых «властителей дум», которая направлена на разрушение традиционных идеологических основ, всего образа жизни нашей молодежи.

Невозможно было представить себе несколько лет назад, что у нас появятся десятки тысяч бездомных ребят, детская проституция, а российские путаны заполняют бордели многих стран мира. На кино- и телеэкранах образ пушкинской Татьяны уступил место образу тоже Татьяны, но из «Интердевочки». Все это, подобно кислоте, разъедает нравственные устои общества, идет растление молодежи. Какие замки будет видеть эта часть нашей молодежи, можно только догадываться. И пока не поздно, надо общими усилиями остановить это умопомрачение. Нельзя дальше мириться с этим. И снова мой горький вопрос: почему молчит интеллигенция, этот духовный индикатор общества, а часть ее активно поддерживает происходящее?

Но вернемся во времена нашей молодости. Скажем, знаменитые коммуналки. Что они — лучше отдельных квартир? Да избави Бог от такой мысли! Едва ли в моем поколении есть люди, которые не жили в коммунальных квартирах и не вздыхали с облегчением, когда приходило счастье перебраться в отдельную. И скорее бы наступило время, когда каждая семья, даже самая молодая, могла бы получить ту квартиру, которая ей нужна! Это было не просто и раньше — хотя размах жилищного строительства в стране десятки лет был беспрецедентным, — но это не было из области фантастики. В настоящее же время реальность такова, что приобретение квартиры для нормального человека становится поистине фантастикой.

Так вот, понимая все это, сегодня я искренне скучаю по невероятно доброй и дружеской атмосфере, которая царила в той квартире. Я ничуть не преувеличиваю: только что нас с женой было двое — сразу же стало больше. Дядя Костя и тетя Сима Корягины и их приемный сын Виктор, а потом и его семья стали нам такими же близкими, как и настоящая наша родня. И Маринку, родившуюся ровно через год после свадьбы, мы бы не вырастили толком, если б не тетя Сима, безропотно и даже радостно остававшаяся с ней. Люда заканчивала институт и потом трудилась в уралмашевском КБ, но я-то допоздна торчал на заводе и все еще учился на вечернем.

Трудно, очень трудно было совмещать учебу и начальничество в цехе, и она ночами чертила мне проекты. И когда я приходил с экзамена, то благодарно говорил ей: ты у меня нынче пятерку получила. Тетя Сима, убаюкивая Маринку, искренне переживала за нас обоих, и хватало ее и на нас, и на дядю Костю, и на Витю, который был летчиком и летал невесть где. И кухню нашу тесную никогда не забуду, потому что была она поистине коммунальной, общей, где и ели мы вместе, и пели, и Маринку купали в цинковой ванночке, в которой она, кстати, и спала, поскольку с детскими кроватками в Свердловске было тогда туго. Это уж потом я по случаю раздобыл сваренную в моем же цехе кровать, которая перешла мне по наследству от коллеги. А затем и дочке Виктора перешла, которую они тоже называли Маринкой.

А потом мы переехали в отдельную квартиру.

У Евтушенко есть стихи, которые так и называются — «Плач по коммунальной квартире». Когда он их напечатал, его, помню, обвиняли в лицемерии: мол, плачет по коммуналке, а сам вторую дачу строит. Мол, сейчас бы он поехал в коммуналку? Уверен, не поехал бы. Потому что сегодняшняя коммуналка — это сегодняшний неустрашенный быт, а вчерашняя, позавчерашняя — это молодость, легкость бытия, это радость общения. Евтушенко, и я с ним здесь согласен, не о стенах плачет, не об обшарпанном потолке и общей уборной, а о той атмосфере дружбы и любви, с которой я начал этот рассказ о нашей коммунальной квартире. Атмосфера коммуналок неповторима и зачастую необъяснима. Но, помните? — нельзя дважды войти в одну и ту же реку... Нельзя. И не надо. Но помнить — стоит.

И сегодня, когда разделено наше государство, наш многострадальный, многотерпимый и все-таки очень добрый

общий дом на полтора десятка суверенных и независимых «квартир», то строки, написанные им давным-давно, кажутся поистине пророческими:

Маленькие личные победы
победили нас и раскололи.
В двери вбили мы глазки дверные,
но не разглядеть в гляделки эти,
кто соседи наши по России,
кто соседи наши по планете.

И как же хочется прокричать вслед за поэтом:

Я хочу, чтоб всем всего хватило —
лишь бы мы душой не оскудели.
Дайте всем отдельные квартиры —
лишь бы души не были отдельны!

Так я о душе. Свадьба принесла нам с Людой не просто счастье — удивительный по тому времени душевный покой, который не хотелось нарушать никакими привходящими обстоятельствами. Но они, обстоятельства, сами про нас не забывают. Через две недели после свадьбы меня позвал заместитель директора завода Михаил Иванович Дорохов и сообщил:

— Мы предлагаем вам должность заместителя начальника вашего цеха, так что все знакомо, все свое, соглашайтесь, Николай Иванович.

— Не могу, — сказал я. — Мне еще учиться четыре года, а это, сами знаете, какая работа. Я тогда так и останусь неучем. Нет уж...

Дорохов то с того бока подступал, то с другого, а я — ни в какую. Так и разошлись. Дома жене рассказал, она говорит: молодец, учиться надо, а не в начальство лезть. А спустя пару дней смотрю — бежит секретарь начальника цеха:

— Николай Иванович, скорее, вас директор вызывает...

Вызов начальника участка к директору Уралмаша — событие. Я директора только издалека видел и слова с ним не сказал. Кто я и кто он! Я пальтишко свое худенькое прямо на спецовку надел и потопал в заводоуправление. А где директор сидит — не знаю. Бабулю в раздевалке спрашиваю: где директор? Она: на втором этаже, сынок. Второй этаж большой... Нашел. Открыл дверь в приемную. За столом секретарь сидит, женщина, теперь я точно знаю, что ее звали Руфина Евгеньевна. Она и у меня, когда директором стал через пятнадцать лет, тоже секретарем работала. А тогда я и ее не знал.

Она строго так спросила:

— Вы кто?

— Я Рыжков, — ответил.

— Тогда заходите. Георгий Николаевич вас ждет...

Георгий Николаевич Глебовский курил «Казбек». Пододвинул мне пачку:

— Курите?

Курить-то я курил, но здесь было не до курева. Отказался. Глебовский хмыкнул, спросил дежурно:

— Как дела в цехе?

— Ничего, спасибо, — так же дежурно ответил я.

— Я у вас на участке был недавно.

— Я вас видел, — подтвердил я. — Издали.

Глебовский решил, что предисловие к беседе слишком затянулось, и пошел в лоб:

— Знаете, зачем я вас вызвал?

— Догадываюсь. В замначцеха уговаривать станете.

— А вот и не стану! — заявил Глебовский. — Другую должность предлагаю — начальника вашего цеха.

А лет мне было, напомним, двадцать пять. Что такое цех Уралмаша? Тысячи предприятий страны были примерно величиной с уралмашевский цех.

Я скромным парнем был, но тут на меня что-то нашло.

— Мы, мастера, вас, Георгий Николаевич, плоховато знаем, — начал я, — редко видим, но считаем человеком умным. — А он, кстати, впоследствии трагически погибший, и впрямь умным был. — Я же сказал Дорохову: не хочу замом идти, поскольку учусь, а в начальники цеха тем более не пойду. Я учебу не брошу.

— И не надо, — усмехнулся Глебовский. — Учитесь. А мы вам поможем.

— Это как? Экзамены за меня сдавать станете?

Но этот деликатный, умный и обаятельный человек снова и снова возвращался к теме. А в итоге сказал:

— Ну все! — Ему надоело мое упрямство. — Я уезжаю в Москву. Приеду — надеюсь, что начальник сборочно-сварочного цеха на заводе будет.

— Какой-нибудь да будет, — не сдержался напоследок я.

Дальше — тишина. А по четвергам на заводе партком заседал. Меня — на партком. Парторг — с ходу:

— Директор завода товарищ Глебовский представил присутствующего здесь товарища Рыжкова на должность начальника сборочно-сварочного цеха. Какие будут предложения?

— У меня предложение, — сказал я. — Не утверждать, поскольку я согласен на то не давал. О чем директору завода и заявил.

А у парторга, видно, установка была: сломать меня, не обращать внимания на строптивость «мальчишки». Пошла дискуссия... И здесь произошло необычное в практике работы парткома.

— Раз такое дело, ставлю вопрос на голосование. Кто «за», прошу поднять руки. Голосуют только члены парткома... — последнее означало, что я могу сидеть и не рыпаться.

Надо ли говорить, что большинство членов парткома оказалось «за»? Меня не знали, проблем моих не ощущали. И партия сказала «надо». Расстроился до смерти. И Люда расстроилась: она-то видела, как непросто дается мне совмещение учебы и работы. Пришлось возглавить цех, а в нем — уже семьсот человек, а не семьдесят пять...

Почему я так подробно вспоминаю свое первое крупное должностное назначение? Да потому, что речь веду о душе, об испытаниях, достигающих на ее долю. О том, как ранят они ее, как больно бьют по ней и каким сильным следует быть, чтобы не оскудеть душой под все нарастающим с годами потоком этих испытаний.

Мое назначение на должность начальника цеха и стало первым в длинной череде этих испытаний. Они в итоге, конечно же, выдерживались, смертельными не были, но зарубки-то на душе оставались. Безмятежность — вот счастливейшее состояние души!.. До сих пор на цеховых лестничках я сидел за длинным столом в кабинете начальника цеха среди моих коллег — начальников участков. Мы знали друг друга как облупленных. Мы вместе решали, как оправдать срыв задания, вместе держали оборону, когда начальник крыл нас чуть ли не благим матом за невыполненный план. Да и мало ли вообще за что нас крыть можно было...

Я был — их. А теперь сел во главе стола, напротив них. Сегодня, конечно же, понимаю смехотворность моих тогдашних переживаний, их наивную детскость, но в тот момент для меня это казалось предательством дружества. Не сразу привык я к новому месту — во главе стола, хотя, как мне думается теперь, мои коллеги были довольны неожиданным выбором Глебовского.

Итак, начальник цеха в 55-м. В 59-м закончил УПИ и получил специальность «инженер-механик по сварочному производству». И сразу же был назначен на вновь введенную

должность главного технолога по сварке. Быстро и сокращенно наскли: главный сварщик. Был же на заводе главный металлург, почему не быть сварщику. Затем замдиректора Уралмаша. Вместе со своими товарищами по заводу и с прекрасным ученым и человеком академиком Борисом Евгеньевичем Патонов, ставшим моим добрым другом, строили новейший, по тем временам крупнейший в Европе сварочный комплекс. В 65-м стал главным инженером Уралмаша, а в 70-м — его директором.

Работал я буквально дни и ночи. Жена сначала не могла смириться с этим, совершенно справедливо упрекала меня, что вышла замуж за человека, а не за должность. К счастью, она быстро определила для себя простую истину: «Я помогаю мужу тем, что не мешаю ему любить свою работу». Это ее слова. Цитата из Л. С. Рыжковой...

Безумно боялся я ночных звонков, потому что они почти наверняка означали ЧП... Тяжко было. Порой — мучительно. Ведь завод — это живой организм, со своими заботами и невзгодами, своим ритмом и всевозможными болезнями.

Но все трудное происходило именно в дружестве, которое называлось Уралмашем и было моей второй семьей. Или первой, не знаю точно. Жена считает, что первой и, замечу, не ревнует... Мои добрые коллеги, с которыми я работал, и семья спасали меня от душевных надломов, хотя жизнь то и дело била, мяла и ломала. Испытания для души были еще те! Но тем крепче она, чем целебнее атмосфера дружества.

Была заводская жизнь, о которой я сейчас пишу. Были и друзья, с которыми мы отмечали праздники, пели, выезжали на своем «Москвиче» на прекрасные уральские озера. Среди наших друзей были не только заводчане, но и поэты, прозаики, с которыми мы встречались в доме Риммы и Левы Сорокиных.

И новый удар по душе я испытал, когда пришлось (опять пришлось) согласиться на переезд в Москву в должности первого заместителя министра. Я тогда потерял главное, что держало меня в жизни, — дружество. Потерял коллектив, друзей и единомышленников, для которых понятия «работа» и «дом» были неразделимы. Время, отданное работе, заводу, было счастливым временем и уж, конечно, ничем не ограниченным. Никаким КЗОТом.

Я оказался в огромном пустом кабинете в чужой и чуждой мне Москве. В кабинете, куда никто не мог — не приучены были — зайти просто так, по делу, не испросив

аудиенции у помощника или секретаря. А ровно в восемнадцать ноль-ноль большое здание министерства на Калининском проспекте мгновенно пустело. И я, провинциальный «работяга», оставался один — с казавшимися мне ненужными и пустыми бумажками. Я впервые это говорю, даже с женой о том молчал, но время прошло, и боль улеглась, забылась. Тогда же, приходя в такой же пустой гостиничный номер, я порой выглядывал в окно и на секунду задумывался: лететь-то недолго... К счастью, к спасению моему, к благополучию души моей, у меня были жена и дочь.

Уверен: у меня лучшая жена в мире, лучше не бывает! Понимаю, что кто-то из мужей со мной категорически не согласится и выдвинет на это звание другую кандидатуру. Его право. Я сделал официальное заявление, можете с ним не соглашаться, но к сведению его прошу принять. Ершова Людмила, злостная «опаздывальщица на производственную практику, теряльщица стратегических документов» доказала истинность любви и великую ее надежность.

Люда защитила диплом, так сказать, вместе с Мариной: на шестом месяце беременности. Ни о каких трех годах послеродового отпуска (а они — бесспорная заслуга возглавлявшегося мной Правительства) тогда речи не было. Два месяца бюллетеня после родов — и на работу. Распределили ее в КБ Уралмаша, очень удобно оказалось, поскольку могла здорово помогать мне в учебе. Да и время работы фиксированное.

Это у меня — с восьми утра до десяти—двенадцати вечера, а тут в семнадцать ноль-ноль звонок — и по домам. Но кто по домам, а Люда — как белка в колесе. Поначалу, пока кормила Марину, в обеденный перерыв бегала домой. А после работы — в магазины, готовила ужин, стирала пеленки, а потом клала чертежную доску на подаренный соседями стол и перечерчивала мои институтские заготовки на листы ватмана.

Потом, когда Маришка пошла в детский сад, я как раз подошел к диплому. В том, что я все-таки закончил институт и защитил диплом на пятерку, — большая заслуга жены. Низкий поклон ей за это! Как и еще более низкий поклон — за огромную помощь в работе над этой книгой: Людмила Сергеевна — мой секретарь, моя «библиотека», мой «компьютер», мой критик и редактор, мое — все...

А работу она не бросала до самого отъезда в Москву, почти четверть века — в КБ Уралмаша, хотя, конечно,

могла бы и не работать: с определенного момента я зарабатывал достаточно, чтоб кормить всю семью. И кратковременная работа в Москве, где ее также хорошо встретили, не могла восполнить потери родного коллектива — дружелюбия! Эта потеря для нее была ничуть не менее болезненной, чем для меня.

Инженерство для нашего поколения было очень престижным, мы держались за него. Я иногда думаю: откуда рождается престижность той или иной профессии? Не сама по себе. Время ее рождает. Послевоенное время настойчиво требовало инженеров, хозяйство страны надо было срочно восстанавливать, и профессия инженера мгновенно стала для молодежи престижной. Сегодня, знаю, престижна профессия экономиста. Умение считать стало главным — опять требование времени, очень естественное требование. А Марина в начале 70-х по стопам родителей не пошла: и она, и ее муж Борис — юристы, закончили Свердловский юридический.

Она не поехала с нами в Москву, не бросилась переводиться в МГУ. Она осталась в Свердловске, закончила там вуз, а в 76-м вышла замуж за Бориса, который пришел в институт, отслужив в армии танкистом. Теперь-то ясно, что не только желание доучиться в своем институте вело ее, но куда больше — любовь, о которой мы с женой тогда лишь догадывались. Потому, наверно, и живет счастливо, в родителей пошла. Коля родился в 83-м, Милочка — в 86-м... И ведь что славно: у нас что ни выходной, что ни праздник — спешим соединиться, побольше быть вместе. Это я и называю семьей. А семья — категория вечная.

...Тихо в доме. Мила успокоилась, легко утешилась, получив от меня стопку бумаги, скоро завесит все стены очередной серией «королевских» портретов, а также портретами наших кокер-спаниелей. Сидит в комнате, от усердия высунув кончик языка, рисует... Коля, вижу в окно, закончил монтаж тележки на базе коляски и покатила агрегат к сараю — испытывать на прочность и проходимость.

Хорошо им. Легко. Души их пока чисты, незамутнены...

Снова и снова спрашиваю себя: кем они станут, когда вырастут? И снова и снова сам себе отвечаю: неважно — кем! Лишь бы в основе их выбора лежала любовь. Как у мамы с папой. Как у деда с бабушкой. Потому что, как я уже говорил, без любви ничего в этой жизни толком не делается. Потому что мир стоит не на слонах, не на китах и не на черепахе — на любви он стоит. Это не мои слова.

Я случайно услышал их от ведущего в телепередаче. Услышал и запомнил. И сейчас с удовольствием повторяю для моих внуков. Пусть в их жизни будет все, что им предназначено. Счастье — значит счастье. Горе — значит горе. Радости — значит радости. Беды — значит беды. Как будет, так будет. Но пусть они пройдут по жизни с любовью. Пусть души их не очерствеют и не надломятся...

Эту главу я посвятил любви. Любви к жене, семье, заводу... И я благодарен судьбе, что она на десятилетия сохранила во мне эти чувства.

Но болит, страшно болит душа за мою заводскую семью. 1995 год. Трудно Уралмашу. Многие цехи закрыты, тысячи заводчан последний раз прошли через заводскую проходную распроданного завода. Тьма опустилась на «завод заводов». Потухли взоры уралмашевцев, тех, кто всегда гордился этим званием. Сейчас, как и всюду, каждый живет сам по себе, лишь бы уцелеть в это смутное время. В войну уральцы умирали около станков от голода и непосильного, нечеловеческого труда. Но тогда они знали, во имя чего уходят из жизни. А что думают мои заводчане о сегодняшней жизни и о завтрашнем дне?..

И все же я верю в свой завод, верю, что наступит рассвет, что этот гигант поднимется и снова станет сильным, могучим и боевым.

Ну вот и конец книги. Безумно жаль ставить точку! Да разве ставлю я ее? Конец одного дела неизбежно означает начало следующего. Это — жизнь. Как сказал мой близкий друг, русский поэт Лев Сорокин:

Еще одним восходом заалела
все беды пересилившая Русь.
Как хочется свои дела доделать —
я на Земле уже не повторюсь!

Москва,
1995